



К.П. Густовский

Колотый
САХАР



Северным летом я приехал в городок Вознесенье, на Онежском озере.

Пароход пришел в полночь. Серебряная луна низко висела над озером. Она была ненужной здесь, на севере, потому что уже давно стояли белые ночи, полные бесцветного блеска. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей: и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках.

Северное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочно. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую



едва ощутимую струю теплого воздуха, ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на севере не светит, а просвечивает как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер, и все еще дышит оттуда запахом снега.

В садах отцветали березы. Белобрысые босые мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить.

Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснушчатый милиционер.

— А ну, давай не курить на пристани! Давай не безобразничать! — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли.

Я пошел в город искать ночлег. За мной увязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком.

Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой поседевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник: «лимитировать расходы на дорогу», «сделать засъемку», «организовать закуску», «перекрыть нормы по линии лесосплава»...

Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека.

Мы шли по дощатым тротуарам, черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы.

У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая светлоглазая девочка и баюкала тряпичную куклу. Я спросил ее, можно ли переночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом.

В горнице вязала за столом старуха в железных очках и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный стариk с закрытыми глазами.

— Бабушка,— сказала девочка и показала на меня куклой,— вот заезжий просится ночевать.

Старуха встала и поклонилась мне в пояс.

— Ночуй, желанный,— сказала она нараспев.— Ночуй, будь гостем дорогим. Только тесно у нас, не взыщи,— придется на полу постелить.

— На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка,— придирчиво сказал человек, стриженый бобриком.

Тогда стариk открыл глаза — они были у него почти белые, как у слепого,— и медленно ответил:

— Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи — притерпишься.

— Имей в виду, гражданин,— сказал человек, стриженый бобриком,— с кем разговариваешь! Должно в милиции не сидел!

Стариk молчал.



— Ох, батюшка,— жалобно пропела старуха,— не обижайся на странника! Бездомный он, бродячий старик, чего с него спрашивать?

Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу.

— Безусловно чуждый старик,— сказал он с торжеством.— Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах? Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?

Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали.

— Родом я отовсюду,— ответил спокойно старик.— Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр.

— Чем занимаешься?

— Сеятель я и собиратель,— так же спокойно ответил старик.— В юности хлеб сеял и хлеб собирал, нынче сею добре слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я,— вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться.



Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал.

— Документы есть?

— Есть-то есть, только не для тебя они писаны, милый человек. Документы у меня дорогие.

— Ну,— сказал человек, стриженный бобриком,— мы найдем того, для кого они писаны.

И он ушел, хлопнув дверью.

— Сырой человек, неспелый,— сказал, помолчав, стариик. — От таких бывает в жизни одна суeta.

Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушилась, что нету у нее в доме ни кусочка сахару: забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом.

За открытым окном блистала звезда. Она была туманной, очень большой, и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе.

Ночное чаепитие меня не удивило,— давно я за-



метил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном, у калитки соседнего дома, стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми.

— Ленинградские это комсомолки,— сказала старуха.— Дочери капитанов. На лето всегда приезжают.

Старик сидел с закрытыми глазами и молчал, как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.

— Ведет! — сказал он горестно.— Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку.

Лестница скрипела. По ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый озабоченный милиционер — тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика.

— А ну, давай, дед,— сурово сказал милиционер,— давай выясняй свою личность! Налаживай документы!

— Личность моя простая,— ответил старик,— только рассказывать долго. Садись, слушай.

— Ты поскорей! — сказал милиционер.— Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить.

— В отделение, родимый, мы завсегда с тобой успеем, в отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне седьмой десяток пошел, помру я не нынче-завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть.

— Ну, давай,— согласился милиционер.— Только не путай!

Зачем путать! Жизнь моя чистая, ее не запутаешь. Все мы, Федосьевы, были со стародавних времен ямщики да певуны. Дед мой Прохор был великий певец, по всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо, он не зря человеку даден, и дед мой берег, да не уберег — сорвался. Может, знаешь иль нет, жил у нас в Псков-





ской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин.

Милиционер ухмыльнулся:

— Еще бы не знать-то!

— Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке, в Святогорском монастыре. Дед пел. Пушкин слушал. Потом пошли они в питейное заведение и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому не известно, только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел, Настюшка,— такой красоты слова — лучше всякой моей песни». Была у деда одна песня, очень ее Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звенящим томительным голосом:

Эх, по белым полям, по широким
Наши слезы снежком замело!

Девушки подошли к окну и, обнявшись, слушали. Милиционер осторожно сел на скамью.

— Да,—вздохнул старик,— многие времена прошли, умер дед столетним стариком и песню ту велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будят деда ночью, стучат в оконце, велят запрягать по спешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит — полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает, опять везти каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу, страдальца, в оковах везут, кого ж это царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма: «Кого повезем?» — «Пушкина,— говорит жандарм.— Убили его в Петербурге». Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс. «Ты, что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм. «Песни я ему пел». — «Ну, так теперь петь не будешь!» Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы,



чтобы не гремели, сел на облучок, поехал. Тихо кругом, только полозья свистят да слышно, как тесаки стучат и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце, от слез заболели глаза, собрал он весь свой голос и запел:

Эх, по белым полям, по широким...

Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит, поет. Вернулся домой, лег, молчит: голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло, одним шепотом.

— От сердца, значит, пел, — пробормотал, сокрушаясь, милиционер.

— Все, родимый, надо от сердца делать, — сказал старик. — А ты ко мне пристаешь, кто я да что. Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу — запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно, а слово это самое ты пропел — выходит, сердечный мой, другое, — оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит — плевый тот народ, нету у него правильного жизненного понятия.



А об документе ты не тревожься, документ я тебе покажу.

Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку.

— На, читай!

— Зачем мне читать! — обиделся милиционер.— Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай. А вы, гражданин,— милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком,— лучше шли бы ночевать в дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу.

Они вышли. Я взял бумажку у старика и прочел:

«Дано это удостоверение Александру Федосьеву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской республики. Всем местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь».

— Эх, горе! — сказал старик.— Нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизни, как трава от осенней росы.

Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые сит-



цевые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица.

Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала тряпичную куклу. Я видел ее из окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки.

— Давай отнеси дедушке,— сказал он и густо покраснел.— Скажи, гостинец. Мне самому некогда, надо на пост становиться.

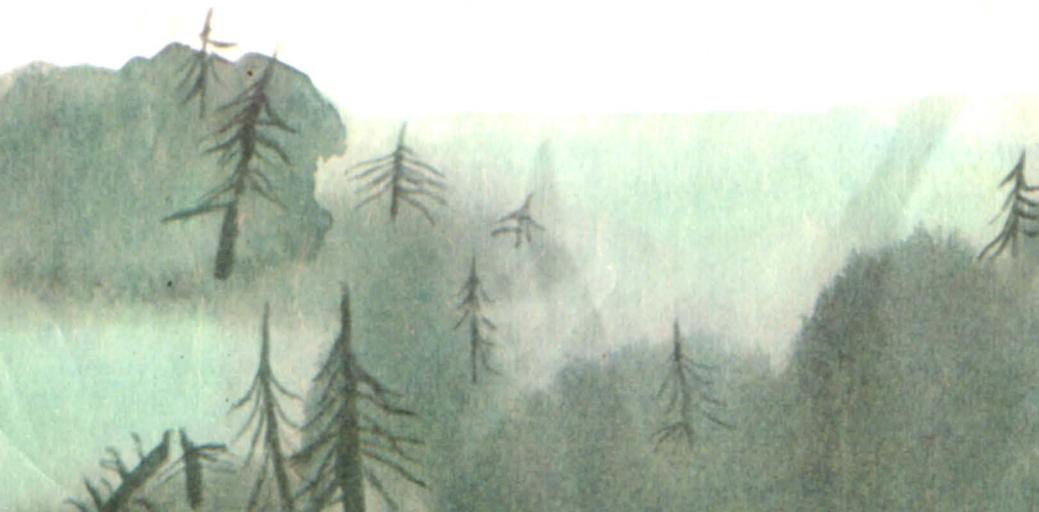
Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с котлетным сахаром и баранки. Старик засмеялся.

— Жил бы я,— сказал он, вытирая слезящиеся глаза,— еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской, и-и-и как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы— прямо силы нет помирать.

— А ты живи, желанный,— сказала старуха.— У тебя легкая жизнь, простая, таким только и жить.

Днем я уехал из Вознесенья в Вытегру. Маленький пароход «Свирь» шел по каналу, задевая бортами за плакун-траву, разросшуюся по берегам.

Городок уходил в солнечный тусклый туман, в тишину и даль летнего дня, и низкорослые леса уже охватывали нас темным кругом. Северное лето стояло вокруг — неяркое, застенчивое, как светлоглазые здешние дети.





10 коп.

Художники
С. Л. Чинёнов и В. Н. Чинёнова

Константина Георгиевича Паустовский
КОЛОТЫЙ САХАР
Для младшего школьного возраста

Редактор О. А. Петтинен. Художественный редактор Л. Н. Дегтярев.
Технический редактор Э. С. Иванова. Корректор Н. И. Григорьева.

ИБ № 890

Сдано в набор 14.09.81. Подписано в печать 31.03.82. Формат 60×90 $\frac{1}{16}$.
Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 1,0. Усл. кр. отт. 4,0. Уч.-изд. л. 1,03. Тираж 200 000 экз.
Заказ 4064. Изд. № 119. Цена 10 коп.

Издательство «Карелия». 185610. Петрозаводск, пл. В. И. Ленина, 19.
Республиканская ордена «Знак Почты» гравюра им. Анохина
Государственного комитета по делам издательства, полиграфии и книжной
торговли Карельской АССР. 185630. Петрозаводск, ул. «Правды», 4.

П 4803010102 — 063
М 127(08) — 82

Р2